
СОСТОЯНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАУКА И ОБЩЕСТВО

А.С. МАКАРЫЧЕВ

ГОСУДАРСТВА, ЭКСПЕРТНЫЕ СООБЩЕСТВА И РЕЖИМЫ ЗНАНИЯ-ВЛАСТИ

Введение

Проблему коммуникации государства и экспертных сообществ, которая является ключевой для данной статьи, можно формулировать с точки зрения соотношения различных типов власти – административно-управленческой и эпистемологической (когнитивной). В академической литературе существуют, по крайней мере, две конкурирующие друг с другом точки зрения на природу этой проблемы. Согласно первой из них, научное знание представляет собой один из инструментов (возможно, важнейший) конструирования коллективных политических субъектов, легитимированный сверху волей суверена, которая выступает необходимым условием социального функционирования знания как такового. Вторая позиция исходит из противоположной исходной точки: профессиональное знание (по крайней мере, достойное такого названия) должно быть рациональной альтернативой «слову суверена» [Медведев, 2014], что лежит в основе не переводимой на русский язык концепции *governmentality*, разработанной Мишелем Фуко. Она описывает практики управления с точки зрения их соответствия рациональному знанию, вырабатываемому, в том числе, и экспертными сообществами [Joseph, 2010, p. 223].

В обоих случаях мы имеем дело с режимами знания-власти, которые отличаются друг от друга не только разным сочетанием этих двух компонентов, но и различной степенью политизации. Скажем, управленческая элита чаще всего является источником деполитизирующих импульсов, в то время как политические смыслы привносятся в пространство принятия решений идеологизированной частью экспертного сообщества.

Настоящую статью я начну с дискуссии о том, как совместимые друг с другом подходы социального конструктивизма и постструктурализма можно использовать для изучения взаимоотношений государства и экспертных сообществ. Я проанализирую аргументы каждой из двух названных выше моделей, в основном применительно к российской ситуации, и остановлюсь как на внутренних функциях различных режимов знания-власти, так и на их внешних проявлениях, в том числе связанных с «мягкой силой».

«Лингвистический поворот» и режимы знания-власти

В литературе часто встречаются попытки бинарного противопоставления государства как носителя управленческой власти и экспертного сообщества как выразителя власти эпистемологической. С точки зрения конструктивизма эта дихотомия смотрится более сложно, поскольку субъектности и государства, и экспертного сообщества формируются в результате той или иной конфигурации дискурсов, имеющих множественные истоки.

Согласно социально-конструктивистскому подходу, государство и экспертные сообщества в процессе постоянной коммуникации взаимно формируют (конституируют) идентичности друг друга, что хорошо отражается в концепте политико-академического комплекса как общего пространства, связывающего воедино государственных служащих (чиновников) и их коллег из научных сфер. Конструктивистская точка зрения предлагает такой взгляд на взаимоотношения между экспертами и лицами, принимающими решения, в центре которого находятся взаимная обусловленность их ролей и взаимозависимость социальных пространств, которые они конструируют. Наиболее важными элементами такого подхода являются дискурсивные и коммуникационные формы властных от-

ношений, связывающие когнитивных акторов, обладающих ресурсом знания, с управленческими элитами. Такой ракурс, с моей точки зрения, помогает в понимании ситуаций, которые можно определить как конкуренцию, или коллизию, различных реальностей, каждая из которых представляет собой социальный конструкт, не столько изначально предназначенный для определенной аудитории, сколько формирующий эту аудиторию, подобно тому, как любой дискурс не столько отражает реальность, сколько конструирует ее, включая коллективных «говорящих субъектов».

Этот подход хорошо дополняется идеей «лингвистического поворота» в изучении политических (в широком смысле слова) процессов, суть которого состоит в понимании того, как дискурсы (речевые акты) через систему коммуникаций формируют социальные конвенции и нормы. По мнению немецких авторов, фундаментальным отличием «языкового поворота» стало признание того, что «ответы на различные претензии на выражение правды нельзя искать в самой природе. Оправдание, фальсификация или подтверждение наших заявлений представляют собой социальные процессы, происходящие в определенном социальном контексте. Если он меняется, то меняется и смысл слов, а вместе с ним и условия, при которых претензии на правду заявляются и обосновываются... Это означает радикальный разрыв с позитивистскими традициями в науке. Правда становится не предметом соотношения между неким заявлением и фактом, на основе чего мы можем тестировать теории в отношении внешней реальности, а вопросом конвенций и консенсуса. Наука, соответственно, это не монолог о разуме и не нейтральное приложение логических законов и статистических закономерностей, а вид языковой игры» [Albert, Kessler, Stetter, 2008, p. 52].

Иными словами, социальные реальности – это «игры в социальные взаимодействия», в ходе которых экспертные сообщества контролируют главный ресурс – «признанное», интеллектуально легитимированное знание. Именно это и является источником «когнитивной власти» как способности определять рамки формирования и восприятия идентичностей и интересов субъектов социальных взаимодействий [Antoniades, 2003, p. 29]. Соответственно, главным предметом изучения в рамках данной парадигмы становятся условия возникновения различных дискурсивных зон и

практик, которые сочетают в себе отношения как конвергенции (притягивания друг к другу) смыслов, так и их дисперсии (рассредоточения, распыления) [Widder, 2004, p. 416]. Этот взгляд кажется плодотворным не только с теоретической точки зрения, но и в практическом плане, при попытке понять конфликтные ситуации, развивающиеся по принципу сталкивающихся друг с другом различных (порой полярно противоположных) реальностей, каждая из которых является социальным конструктом, порождением определенной комбинации разных типов и способов осуществления властных отношений.

Такой подход к описанной проблеме состоит в ее рассмотрении сквозь призму тех концептов, которые не столько разделяют «знание» и «власть» как различные формы социальных пространств, сколько представляют их в неразрывном единстве, как взаимно обуславливаемые сущности. Из этого следует, что отношения между государством и эпистемологическими сообществами приобретают форму режимов власти-знания, которые формируют различные рамки, или «стили политического мышления» [Merlingen, 2006, p. 183]. Два из них в дальнейшем анализе я выделю особо.

Экспертные сообщества и суверенное «тело» нации

Первая модель взаимоотношений между государством (властной элитой) и экспертизой исходит из их инструментального содержания. Ее сторонники видят суть проблемы преимущественно в выработке оптимального формата того продукта, который исследователи-профессионалы могут предложить на политическом рынке [Voeten, 2013], либо в поиске наиболее эффективных форм участия ученых в политике [Точка зрения, 2013].

В России такая утилитарная постановка вопроса часто приводит к мнению о том, что функция экспертов – это разработка государственной идеологии на основе «возрождения исторической памяти» и «понимания исторической цели существования России как цивилизации» [Golubchikov, 2013, p. 109]. В качестве другого отзвука той же логики можно рассматривать предположение о том, что суверенной России необходимы собственные школы в науках о политике и международных отношениях, со своим инструментарием,

проблематикой и тематическим фокусом, свободным от западоцентризма. Понятно, что в основе проектов создания «своих» научных школ лежит неприятие претензий Запада на универсализацию своего партикулярного режима знания-власти. Однако при этом сама попытка построить альтернативу «западной» науке на основании того, что «наши» ученые по своей природе другие (например, не обслуживают интересы своих политических элит), кажется наивной и обреченной на неудачу. В. Тольц справедливо полагает, что если Восток исторически был объектом империалистических устремлений Запада, то из этого едва ли следует, что Восток способен предложить собственную категориальную концептуализацию мира [Тольц, 2012, с. 41–69]. Иными словами, критика Запада вполне возможна на языке самих же западных – генеалогически и содержательно – концепций. Все это имеет прямое отношение к России, режимы знания-власти которой хотят встроиться в антиколониальные дискурсы, в том числе и академические, но при этом не могут предложить содержательную альтернативу западному дискурсу, постоянно оперируя его понятиями.

Пожалуй, главный парадокс первой модели состоит в том, что точка зрения о предназначении исследователей снабжать власть политико-идеологическими аргументами неизбежно наталкивается на расплывчатость дискурсивных границ современного государства, и Россия не является в этом плане исключением. Например, во многих случаях сложно установить, делается то или иное заявление от имени государства, или же оно является мнением эксперта, состоящего на государственной службе, но не представляющего государство. Под воздействием большого числа факторов, так или иначе связанных с глобализацией, современное государство децентрируется и регулярно освобождает себя от тех функций, которые могут быть более эффективно использованы квази- либо окологосударственными институтами. Хорошим примером в этом плане являются немецкие партийные фонды, использующие для своей деятельности по всему миру государственные деньги, но имеющие большую свободу рук при определении формата и приоритетов своей работы. В наиболее радикальном варианте мысль о расплывчатости границ трансформируется в представление о государстве как о «дискурсивном симулякре, знаке без референта» [Selby, 2007, p. 329].

Для нашего анализа это означает, что государство не столько производит политически значимые смыслы, сколько их присваивает и управляет ими. Швейцарский исследователь Филипп Казула [Casula, 2013] уловил важную отличительную особенность нынешнего российского режима: национальный лидер – это фигура, парадоксальным образом стоящая вне политики, т.е. не нуждающаяся в рутинных публичных процедурах для регулярного подтверждения своей легитимности, включая, например, участие в полноценных политических дебатах. Путин, по версии Ф. Казулы, – это «пустой означающий», т.е. символ, не привязанный к определенному смыслу. С одной стороны, он понимает, что демократический дискурс – это способ «пристегивания» России к Западному ядру современного мирового порядка. Но, с другой стороны, эта кажущаяся универсальность тут же подрывается тезисом о том, что каждая демократия специфична и не нуждается во внешней легитимации, что приводит к наполнению «пустого означающего» консервативно-националистическими идеями. Соответственно, В. Путина нет смысла обвинять в непоследовательности или отсутствии сущности – это не только его сознательная линия, но и источник его власти, поскольку она дает ему возможность ситуативно определять политическую грань, отделяющую легитимное от нелегитимного, «свое» от «чужого». Все ключевые концепты, используемые Кремлем – «фашисты», «Европа», «русский мир», «евразийская цивилизация» и пр., – являются дискурсивными конструктами, которыми Кремль манипулирует при проведении своей политики.

Такая подвижность политической семантики вызывает у многих исследователей ассоциации с пустотой как с онтологической категорией, описывающей российское бытие как лишенное центра, т.е. консенсусно понимаемых смыслов, более или менее устойчивых идентичностей, норм и ценностей [Gunter, 2013, p. 105]. Многие авторы ставят под сомнение укорененность любых идеологических форм в сегодняшней России. На примере того, что Кремль и привлекает националистов для поддержки своих проектов, и одновременно подавляет национализм, Люк Марч делает вывод о том, что у правящего режима нет устойчивой идеологии. Перед лицом идеологических вызовов Кремль часто занимает «глубоко административную позицию» [March, 2012, p. 402].

Идеология для него – это один из способов легитимации отношений власти. Причем эта идеология – парадоксальным образом – постполитична в том смысле, что она базируется на артикуляции своих позиций как самоочевидных, естественных и не требующих доказательств. Любопытно в этом контексте смотрятся ссылки Л. Марча на Карла Шмитта [см.: March, 2012, p. 409]: их можно понять в том смысле, что глубокие акценты на фигурах «врагов России» в путинском дискурсе объясняются не столько политизацией этого дискурса, сколько, наоборот, – желанием создать для него комфортные постполитические ниши, в которых он не вступал бы в прямое столкновение со своими оппонентами. В этой логике за государством закрепляется некая «надполитическая» роль, основанная на убеждении в том, что единственным легитимирующим основанием политики является не рациональность решений, а эмоционально поддерживающее ее большинство [Larson, Shevchenko, 2014, p. 269–279].

Элементом, подчеркивающим зависимость официального дискурса от изначально внешних по отношению к государству публичных нарративов, стала феноменальная популярность в российской политической элите теорий заговора. Окультизная и конспирологическая литература стала нормой в российских книжных магазинах. Конечно, «темные тайные силы» существуют в массовом общественном сознании и на Западе, но они редко интегрируются в доминирующий дискурс, оставаясь на его обочине и принимая скорее протестную форму [Raikka, 2009, p. 185–201]. В России же конспирология стала частью гегемонистского, т.е. доминирующего в официальных кругах, дискурса, который внутри себя порождает огромное количество того, что я бы назвал трэш-дискурсами. Их сложно классифицировать по относительно устоявшимся в науке критериям, поскольку они представляют собой смесь воображения, иррациональности и имперского мессианства [Шнирельман, 2012, с. 107].

Многие из «заговорщических» идеологем придуманы не в Кремле, а за его пределами, и их достаточно сложно типологизировать, на что указывает немецкий исследователь Андрэас Умланд: например, для него Александр Дугин – и «правый грамшист», и консерватор, и фашист [Умланд, 2012, с. 401–407]. А. Умланд верно подметил метаполитическое начало в той социальной функции,

которую выполняет этот персонаж. Если понимать метаполитику в категориях Жака Рансьера и Славоя Жижека, то мы увидим здесь любопытный парадокс: А. Дугин, являющий собой один из ярчайших примеров подавления академического дискурса политико-идеологическим, подспудно тяготится этим политическим обременением. Соответственно, он пытается перевести свой дискурс в сферу неких консенсусно принимаемых «истин», базирующихся на категориях, якобы не нуждающихся в обсуждении. С моей точки зрения, эта тенденция характерна отнюдь не только для А. Дугина – метаполитическим (в более широком смысле – постполитическим) становится весь гегемонистский дискурс Кремля: он претендует не на победу аргументов в их публичном состязании, а на технологию вертикального навязывания идеологием, не признающих себе альтернативы. Этот «псевдореализм» в качестве своего эффекта порождает типичные идеологемы, преимущественно имперские [Laruelle, 2012], чем активно пользуется государство.

При этом для их производителей и потребителей совершенно не важно, верны ли их основания аналитически. Но одно дело, когда теории заговора воспроизводятся в публицистике или художественной литературе, и совсем другое – когда ими засоряется академический дискурс. Именно низкий профессионализм политологической среды позволяет многим фантазиям мимикрировать под научные рассуждения гиперреалистического типа [Heathershaw, 2012, p. 627].

Governmentality и политическая рациональность

Вторая модель базируется на описании функций аналитиков как производителей особого типа дискурса, не тождественного дискурсу суверенной власти, и уходит корнями в концепцию *governmentality*, получившую широкую известность благодаря работам Мишеля Фуко. По словам одного из последователей французского философа, *governmentality* как совокупность рациональных программ, технологий и стилей мышления «выводит свои принципы из природы управляемого объекта, а не из интересов суверенного правителя или из религиозного порядка, освященного традициями» [Merlingen, 2006, p. 182]. Иными словами, существует

принципиальная разница между двумя типами властных отношений: суверенная власть, стремясь к централизации и унификации, действует посредством юридических запретов и применения силы, в то время как модель *governmentality* функционирует вне логики консенсуса и без использования насилия.

Но конфигурации, складывающиеся между этими видами власти, всегда ситуативны, и вполне реальны расклады, при которых суверенная власть либо совпадает по своим управленческим параметрам с *governmentality*, либо активно и сознательно использует ее в качестве ключевого стратегического ресурса. Однако такие варианты возможны лишь при условии того, что сама суверенная власть осознает необходимость внутренних трансформаций и не претендует на то, чтобы оставаться монопольным центром политических и управленческих практик. Пожалуй, наиболее удачным примером в этом плане является Европейский союз, который сознательно предпочитает строить свою внутреннюю и международную субъектность не через импульсы и инициативы, генерируемые «сверху» суверенной властью, а через сложную систему рациональных правил и институтов, в основе которых лежат доминирующие представления об эффективности и соответствующих нормах. Именно академическим сообществам принадлежит важнейшая роль в легитимации представлений о нормах, вне контекста которых модель *governmentality* будет попросту дисфункциональна. Будучи социальными конструктами, нормы для их имплементации требуют консенсусного понимания, что отражает, в частности, получившая широкую известность далеко за пределами научных кругов характеристика ЕС как «нормативной силы», данная датским профессором Ианном Маннерсом. В этом контексте важно понимать, что за каждой европейской нормой, как правило, стоит не воля суверена (которому ЕС давно уже, следуя известной метафоре Мишеля Фуко, «отрубил голову») и, тем более, не ссылки на религиозные традиции, а рационально просчитываемые управленческие варианты. Можно, допустим, сослаться на дискуссии вокруг таких нормативно плотных концептов, как безопасность, изменение климата, либерализация или прозрачность (особенно на энергетических рынках ЕС): ведущими голосами в публичных дебатах и, соответственно, акторами *governmentality* являются признанные эксперты в соответствующих сферах. Это делает ЕС «пост-

политическим» субъектом, отдающим предпочтение технократическим (управленческим, проектно-ориентированным) решениям перед сугубо политическими. Именно в этом следует искать корни модели «игры с положительной суммой», известной в английском языке как *win-win situations: governmentality* в данном случае выступает как инклюзивная технология горизонтального вовлечения партнеров в общий нормативный порядок через передачу знаний, трансфер успешных практик и лучшего опыта – т.е. все то, что отрицается радикальными сторонниками идей цивилизационного, экономического или политического суверенитета России.

При этом в ситуациях, когда суверенитет из юридического регистра возводится в ранг главенствующего политического принципа и мерила качества властных отношений, *governmentality* превращается в один из противовесов – и даже конкурентов – такому волонтаризму суверенной власти. Такая ситуация предполагает разграничение между «политическим» (сферой принятия решений, основанных на групповых интересах или на субъективной политической воле) и «объективным» (знанием о том, какова цена этих решений и их долгосрочные социальные и финансовые эффекты) [Edkins, 2005, p. 68]. В российском контексте следы столкновения двух логик – суверенной власти и *governmentality* – можно найти в дискуссиях об управленческих последствиях присоединения Крыма для регионов РФ [Зубаревич, 2014], проведения спортивных мегасобытий при их гигантских бюджетах [Немцов и Мартынов, 2013] или реализации под эгидой государства глобальных энергетических проектов [Крутихин, 2014].

Другим вариантом описания глубинного отличия между суверенной властью и *governmentality* может быть разделение на нормативные и аналитические рамки принятия решений, что тоже имеет прямое приложение для анализа ситуации в России. Нормативные рамки, которыми активно пользуется суверенная власть, предполагают обсуждение того или иного общественно значимого вопроса на морально-эмоциональном уровне с неременным определением правильных и ложных линий поведения. Аналитические же рамки опираются, прежде всего, на рациональность и причинно-следственные факторы [Rothman, 2011, p. 54]. Не сложно увидеть, что в России нормативно-эмоциональные дискурсы преоблада-

ют над рационально-аналитическими, что практически не оставляет оперативного простора для реализации модели *governmentality*.

«Мягкая сила» дискурсов?

Исходя из сказанного выше, можно прийти к нескольким соображениям о том, как режимы знания-власти дают различные эффекты с точки зрения системы внешних связей государства, представляющих собой ту сферу, на которой хорошо видны эффекты двух моделей и стоящих за ними логик. Исходя из разграничения двух представленных выше моделей, можно утверждать, что существуют, соответственно, два разных инструментария, с помощью которых реализуются коммуникации с внешней средой, включая «мягкую силу» как один из ключевых концептов в этой сфере. Часто разговоры о «мягкой силе» России в мире сводятся к простому перечислению культурных достижений как к самодостаточному аргументу, доказывающему претензии страны на привлекательность и влияние. Однако «мягкая сила» имеет глубоко дискурсивную природу и в значительной мере опирается не только на действия, предпринимаемые государством, но и на обмен посланиями внутри профессиональных экспертных сообществ различных стран [Lane, 2014]. Исходя из сказанного выше, можно выделить две различные «модели мягкой» силы применительно к России.

Первая модель предполагает взаимодействие с теми международными партнерами, которые разделяют набор основных догматов, при помощи которых Россия описывает свою суверенную внешнеполитическую философию. Несмотря на засоренность российского режима знания-власти конспирологическими идеологемами, возникшими за пределами государства и адаптированными им, российский гегемонистский дискурс тем не менее содержит в себе определенный коммуникационный потенциал, который может быть использован как компонент «мягкой силы».

Наибольшие шансы встретить понимание и даже симпатию в некоторых кругах стран Запада может иметь российская версия реализма, заметно активизировавшаяся во внутрироссийских дебатах в последние годы. Так, одна из ключевых фигур американского неореализма Джон Мершхаймер полагает, что в нынешнем кризисе

в Украине в значительной мере виноваты Соединенные Штаты, пошедшие по пути поддержки либеральных иллюзий о продвижении демократии в зоне российского влияния [Mearsheimer, 2014]. Его коллеги-реалисты – например, Дмитрий Саймс – строят свою аргументацию именно на основе реалистической рациональности во взаимоотношениях с Россией. В соответствии с рецептами внешнеполитического реализма Д. Саймс пишет, что «наш наиболее адекватный ответ России должен состоять в том, чтобы убедить ее выбрать самоограничение и, по возможности, сотрудничество» [Simes, 2014, p. 9]. С точки зрения Д. Саймса, обязательства перед союзниками предполагают, что США не должны подвергать их избыточной опасности и создавать ситуации, при которых Россия захочет показать силу и тем самым фактически поставит Америку перед дилеммой – война или унижение. Одна из проблем американской политики состоит, по его мнению, в том, что дискуссии о России оказались излишне персонифицированы концентрацией внимания на фигуре В. Путина и на его внутренней политике. Д. Саймс согласен с тем, что президент России действительно дает много поводов относиться к себе критически, а его постоянные отступления от демократических стандартов управления внутри страны достойны осуждения. Однако в итоге внешняя политика Б. Обамы оказалась под властью моральных аргументов, в результате чего само понимание интересов России стало нерелевантным, поскольку эти интересы связывались с режимом, обладающим сомнительной репутацией и легитимностью. Морализм Вашингтона выразался и в том, что он взял на себя и своих союзников функцию репрезентации «международного (со) общества», что облегчалось отсутствием в мире (гео) политического противовеса Западу. Это привело, по мнению Д. Саймса, к тому, что первый случай насильственного отторжения части территории европейского государства состоялся в Косове, и именно под влиянием морально-этических соображений. Аннексия Россией Крыма была лишь отражением этого прецедента. Этот тезис, часто используемый Кремлем в свое оправдание, можно трактовать и как указание на имитационный и реактивный характер внешней политики России, сводящейся к подражанию Америке. Однако Д. Саймс не видит в сложившейся ситуации ничего нового: следуя традициям реализма, он полагает, что в мире мало что изменилось за последние столе-

тия, и в подтверждение этого активно использует исторические аналогии: попытки изоляции крупной державы всегда приводили к новым альянсам и реконфигурации сил.

Такая позиция показывает, насколько близки друг другу аргументы Кремля и американских реалистов-консерваторов. Это касается тезисов об искусственной природе Украины как государства, нелегитимном характере смены власти в Киеве, неспособности санкций оказать эффект на поведение Кремля, негативной оценки роли М. Саакашвили на посту президента Грузии и пр. В том же русле Пол Старобин [Starobin, 2014, p. 21–29] считает, что США должны прекратить тешить себя иллюзиями, регулярно предсказывая скорый упадок России. Многие в Кремле согласились бы с ним в том, что отношение к России должно быть делом не эстетического вкуса, а холодного расчета. Из такой логики следует, что для этого надо перестать представлять Россию как страну, принципиально несовместимую с западными подходами к политике. Россия, безусловно, является для США соперником, однако не выходящим за пределы западного опыта конфликтного, но управляемого взаимодействия с державами, оспаривающими западную гегемонию.

Отказывая России в захватнических планах, Якуб Григель и Весс Митчел [Grygel, Mitchell, 2014, p. 37–44] считают, что своими действиями в Украине В. Путин просто хотел проверить систему безопасности, сконструированную США. Это, безусловно, недружеские, но по-своему объяснимые действия, требующие для своего понимания опыта управления рисками и реакциями на угрозы времен «холодной войны». Еще один американский реалист, Николас Гвоздев [Gvosdev, 2014, p. 14–26], предлагает пойти на прагматичный компромисс с Кремлем через «нейтрализацию» украинского вопроса. Он воспроизводит многие кремлевские аргументы о геополитической и экономической значимости Украины для России, но при этом намекает фактически на возможность раздела не только сфер влияния, но и самой Украины.

Возможность Кремля найти общий язык и выстроить систему коммуникации с некоторыми силами в странах Запада усиливается регулярно дающей о себе знать нормативной зависимостью России от Запада, что заставляет Москву разрабатывать свою систему политических посланий, адресованную западным странам, – в частности, через Валдайский или Селигерский клубные форматы

[Мийссен, 2012, р. 132–157]. Евроцентричность значительной части политической элиты России отмечает, например, Дмитрий Шляпентох [Shlapentokh, 2014]: для него отрицание рядом консервативных фигур, приближенных к Кремлю, привлекательности европейских ценностей балансируется перманентным тяготением России к Европе как к потенциальной стратегической союзнице. Даже уже упоминавшийся А. Дугин эпистемологически зависим от западных концепций, и разорвать эту связь не в силах даже самая жесткая националистическая риторика. Альянс Кремля с европейскими правыми – та часть евразийского проекта А. Дугина, которая оказалась в настоящее время политически востребованной и реализуемой на практике.

Таким образом, российский гегемонистский дискурс и производная от него «мягкая сила» встраиваются в структуры международной анархии, идентифицируемые реализмом как ключевая характеристика международных отношений. В этом контексте знание и понимание тех дискурсов, с помощью которых Россия описывает свои «ролевые идентичности» – от «общего европейского дома» до «консервативного поворота», – помогает восстановить как линии преемственности, так и точки разрыва между ними. Структура российского внешнеполитического дискурса показывает, что некоторые из аргументов Кремля вполне могут найти аналоги в западных академических кругах, что вносит дополнительную интригу в дискурсивное противостояние России и Запада, свидетелями которого мы сейчас являемся.

Что касается *второй модели* «мягкой силы», основанной на модели *governmentality*, то она строится на совершенно другой логике, а именно на возможности управления на расстоянии процессами, протекающими в странах – объектах «мягкой силы». В этом смысле *governmentality* – как способ трансграничного трансфера знаний и управленческих технологий – является неотъемлемой частью механизмов глобализации и, более конкретно, «глобального управления» [Weidner, 2009, р. 390]. Принципиальным при этом остается ключевое положение Мишеля Фуко о том, что стратегическая цель *governmentality* – расширение спектра возможностей вовлеченных в нее социальных и профессиональных акторов, а значит – расширение пространства свободы. Именно «мягкие» технологии корректирующего воздействия на страны-объекты – в

виде системы стимулов, создания совместных информационных и аналитических площадок, применения рейтинговых приемов и т.д. – делают governmentality эффективным способом содействия развитию на основе определенного нормативного порядка. Как уже говорилось, именно так действует ЕС, в том числе в рамках программы «Восточное партнерство», реализуя – при самом активном участии европейских эпистемологических сообществ – модель либеральной «нормативной силы».

Соответственно, специфика governmentality как формы мягкой силы состоит в создании условий не для геополитического доминирования посредством навязывания определенного способа действий, а для возможности сделать рациональный выбор в максимально свободных для этого условиях и нести за этот выбор ответственность. Как и любой тип «мягкой силы», governmentality – через передачу экспертного знания, разработку стандартов и механизмов оценки проектов, индикаторов развития и пр. – прежде всего формирует и инвестирует в среду, в рамках которой могли быть реализованы либеральные принципы «надлежащего управления» (good governance) [Joseph, 2009, p. 416].

Заключение

Исходя из упомянутого в начале статьи «лингвистического поворота», можно резюмировать, что смысл взаимодействия государства и эпистемологических сообществ состоит в возникновении «гетерогенных дискурсивных зон» [Widder, 2004, p. 416], в которых формируются политические и управленческие практики и модальности власти. Роль мозговых центров и научно-аналитических институтов при этом состоит в выработке повестки дня и в контроле за ней [Gallarotti, 2011, p. 29]. Иными словами, экспертиза в качестве своей основной функции производит «дискурсивные структуры легитимации» [O'Mahony, 2010, p. 65] определенного нормативного порядка, либерального или консервативного.

При этом было бы значительным упрощением сводить роль тех или иных школ внутри политико-академического комплекса к обслуживанию меняющихся идеологических потребностей элитных групп [Shakleyina, Bogaturov, 2004, p. 38]. Их система идейных

предпочтений может меняться в течение одного политического цикла от неолиберальной стратегии встраивания в глобально доминирующие структуры до атаки на них с консервативных антизападных позиций, в чем можно найти подтверждение обозначенной выше гипотезе о государстве как институте, который присваивает и управляет когнитивными и эпистемологическими ресурсами (идеями, концепциями, стратегиями), но не производит их.

Возвращаясь к исходным теоретическим положениям моего анализа, можно утверждать, что для обеих моделей коммуникации между «знанием» и «властью» ключевым компонентом является социальное конструирование признания и легитимации экспертного знания в процессе сложных взаимодействий между ними [Cross, 2013, p. 159]. В первом случае объектом легитимации становятся идеологемы, которые циркулируют на рынке политических идей и которые можно использовать для строительства «мостов» с академическими сообществами других стран, придерживающихся аналогичных или схожих позиций. Во втором случае легитимируются технические нормы и управленческие практики, не лишённые нормативного фундамента, но переносящие акцент на постполитические компоненты властных отношений. Это – две параллельные реальности, которые многое объясняют в неспособности России и Европы говорить на одном языке.

Список литературы

- Зубаревич Н.* Четыре России отменяются // Новая газета. – М., 2014. – 20 декабря. – Режим доступа: <http://www.novayagazeta.ru/politics/66622.html> (Дата посещения: 15.04.2015.)
- Крутихин М.* Газпром – не коммерческая организация, а инструмент политики // Новая газета. – М., 2014. – 8 октября. – Режим доступа: <http://www.novayagazeta.ru/economy/65619.html> (Дата посещения: 15.04.2015.)
- Медведев С.* Слово суверена: почему для понимания Путина нужен немецкий философ // Forbes. – М., 2014. – 15 мая. – Режим доступа: <http://www.forbes.ru/mneniya-column/vertikal/257241-slovo-suverena-pochemu-dlya-ponimaniya-putina-nuzhen-nemetskii-filoso> (Дата посещения: 15.04.2015.)
- Немцов Б., Мартынов Л.* Зимняя Олимпиада в субтропиках. – М., 2013. – Режим доступа: <http://www.putin-itogi.ru/zimnyaya-olimpiada-v-subtropikakh/> (Дата посещения: 15.04.2015.)

- Тольц В.* Петербургское востоковедение начала XX века и критика европейской науки о Востоке // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. – М., 2012. – № 2. – С. 41–69.
- Точка зрения: Участие ученых в политике // Постнаука. – М., 2013. – 29 августа. – Режим доступа: <http://postnauka.ru/talks/16221> (Дата посещения: 15.04.2015.)
- Умланд А.* «Евразийские» проекты Путина и Дугина – сходства и различия: об истоках и роли правоэкстремистского интеллектуализма в неавторитарной России // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. – М., 2012. – № 2. – С. 401–407.
- Шницерльман В.* Хазария, Апокалипсис и «Мировая Закулиса»: как преподавательница французского бросила вызов Западу // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. – М., 2012. – № 2. – С. 100–110.
- Casula Ph.* Sovereign democracy, populism, and depoliticization in Russia. Power and discourse during Putin's first presidency // Problems of post-Communism. – Washington, D.C., 2013. – Vol. 60, N 3. – P. 3–15.
- Cross M.K.D.* Rethinking epistemic communities twenty years later // Review of international studies. – Kent, 2013. – Vol. 39, N 1. – P. 137–160.
- Edkins J.* Ethics and practices of engagements: Intellectuals as experts // International relations. – N.Y., 2005. – Vol. 19, N 1. – P. 64–69.
- Gallaroti G.* Soft power: what it is, why it's important, and the conditions of its effective use // Journal of political power. – Abingdon, Oxfordshire, 2011. – Vol. 4, N 1. – P. 25–47.
- Golubchikov M.* Literature and the Russian cultural code at the beginning of the 21 st century // Journal of Eurasian studies. – Oxford, 2013. – N 4. – P. 107–113.
- Grygel J., Mitchell W.* Limited war is back // The national interest. – N.Y., 2014. – September – October. – P. 37–44.
- Gunter H.* Post-Soviet emptiness (Vladimir Makanin and Viktor Pelevin) // Journal of Eurasian studies. – Oxford, 2013. – N 4. – P. 100–106.
- Gvosdev N.* Ukraine's ancient hatred // The national interest. – N.Y., 2014. – July – August. – P. 16–24.
- Heathershaw J.* Of national fathers and Russian elder brothers: Conspiracy theories and political ideas in post-Soviet Central Asia // The Russian review. – N.Y., 2012. – N 71, October. – P. 610–629.
- Joseph J.* Governmentality of what? Populations, states and international organizations // Global society. – Abingdon, Oxfordshire, 2009. – Vol. 23, N 4. – P. 413–427.
- Joseph J.* The limits of governmentality: social theory and the international // European journal of international relations. – L., 2010. – Vol. 16, N 2. – P. 223–246.
- Larson D.W., Shevchenko A.* Russia says no: Power, status, and emotions in foreign policy // Communist and post-Communist studies. – Oxford, 2014. – Vol. 47, Iss. 3–4. – P. 269–279.
- Lane D.* Soft power, dark power, and academic cooperation // Дискуссионный Валдайский Клуб. – 2014. – 10 November. – Mode of access: http://valdaiclub.com/russia_and_the_world/73844.html (Дата посещения: 15.04.2015.)

- Laruelle M.* Conspiracy and alternate history in Russia: A nationalist equation for success? // *The Russian review*. – N.Y., 2012. – N 71. – P. 565–580.
- March L.* Nationalism for export? The domestic and foreign-policy implications of the new 'Russian idea' // *Europe-Asia studies*. – L., 2012. – Vol. 64, N 3. – P. 401–425.
- Mearsheimer J.* Why the Ukraine crisis is the West's fault // *Foreign affairs*. – N.Y., 2014. – September – October. – Mode of access: <https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2014-08-18/why-ukraine-crisis-west-s-fault> (Дата посещения: 27.05.2015.)
- Merlingen M.* Foucault and world politics: Promises and challenges of extending governmentality theory to the European and beyond // *Millenium: Journal of international studies*. – L., 2006. – Vol. 36, N 1. – P. 181–196.
- O'Mahony P.* Habermas and communicative power // *Journal of power*. – Abingdon, 2010. – Vol. 3, N 1. – P. 53–73.
- Raikka J.* On political conspiracy theories // *The journal of political philosophy*. – Oxford, 2009. – Vol. 17, N 2. – P. 185–201.
- Simes D.* Reawakening an Empire // *The national interest*. – N.Y., 2014. – July – August. – P. 5–15.
- Shakleyina T., Bogaturov A.* The Russian realist school of international relations // *Communist and post-Communist studies*. – Oxford, 2004. – N 37. – P. 37–51.
- Shlapentokh D.* The great friendship: Geopolitical fantasies about the Russia / Europe alliance in the early Putin era, (2000–2008) – The case of Alexander Dugin // *Debate: Journal of contemporary Central and Eastern Europe*. – L., 2014. – Vol. 21, N 1. – P. 49–79.
- Starobin P.* The eternal collapse of Russia // *The national interest*. – N.Y., 2014. – September – October. – P. 21–29.
- Voeten E.* What do policymakers want from academics // *The Washington Post*. – Washington, D.C., 2013. – 25 September. – Mode of access: <http://www.washingtonpost.com/blogs/monkey-cage/wp/2013/09/25/what-do-policymakers-want-from-academics/> (Дата посещения: 15.04.2015.)
- Weidner J.* Governmentality, capitalism, and subjectivity // *Global society*. – Abingdon, Oxfordshire, 2009. – Vol. 23, N 4. – P. 387–411.
- Widde N.* Foucault and power revisited // *European journal of political theory*. – Thousand Oaks, Calif., 2004. – N 3–4. – P. 411–432.